
АРСЕНИЙ
ТАРКОВСКИЙ
ОТ ЮНОСТИ
ДО СТАРОСТИ

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

ОТ ЮНОСТИ ДО СТАРОСТИ

Стихи

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1987

ББК 84 Р 7
Т 19

Художник
АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВ

Т $\frac{4702010200-158}{083(02)-87}$ 244—87

* * *

Я не был убит на войне,
Так значит — и вправду везло мне.
Но братья стучатся ко мне:
— И помни,— твердят мне,— и помни...

— И помни, что были у нас
И матери наши, и дети...
— Я умер в погибельный час...
— А я был убит на рассвете...

А жизнь мы любили и в ней
Стремились к единственной цели,
И чем мы любили сильней,
Тем песни счастливее пели.

— Простите меня, что живу,
И я — никуда — ниоткуда.
Вы видите сны наяву.
Какое вам видится чудо?

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

Их так немного было у меня,
Все умерли, все умерли. Не знаю,
Какому раю мог бы я доверить
Последнее дыханье их. Не знаю,
Какой земле доверить мог бы я
Этот холодный прах. Одним огнем
Нам опалило щеки. Мы делили
Одну судьбу. Они достойней были
И умерли, а я еще живу.
Но я не стану их благодарить
За дивный дар, мне выпавший на долю.
Я не хотел столь дорогой ценой
Купить его. Мне — их благодарить?
Да разве я посмею им признаться,
Что я дышу, и вдовы их глядят
В глаза мои — пусть не в глаза, а мимо —
Признаться им — без укоризны? Нет,
Я вдов не очерню пред мертвецами,
Вдова пройдет сторонкою и скажет...
Им все равно, что скажут вдовы их.
Благодарить за то, что я хотел бы
На их могилы принести цветы
В живых руках, дыша благоуханьем,
За шагом шаг ступая по траве,
По их траве, когда они лежат
В сырой земле и двинуться не могут.
Что двинуться? Когда их больше нет.
Ни я, ни вы, никто не нужен им.

А я без них – с кем буду хлеб делить,
С кем буду пить вино в мой светлый день,
Кому скажу: какой сегодня ветер,
Как зелена трава и небо сине?

* * *

Хорошо мне в теплушке,
Тут бы век вековать, —
Сумка вместо подушки,
И на дождь наплевать.

Мне бы ехать с бойцами,
Грызть бы мне сухари,
Петь да спать бы ночами
От зари до зари.

У вокзалов разбитых
Брать крутой кипяток —
Бездомовный напиток —
В жестяной котелок.

Мне б из этого рая
Никуда не глядеть,
С темнотой засыпая,
Ничего не хотеть —

Ни дороги попятной,
Разоренной войной,
Ни туда, ни обратно,
Ни на фронт, ни домой, —

Но торопит, рыдая,
Песня стольких разлук,
Жизнь моя кочевая,
Твой скрежещущий стук.

* * *

Здесь дом стоял. Жил в нем какой-то дед,
Жил какой-то мальчик. Больше дома нет.

Бомба в сто кило, земля черным-черна,
Был дом, нету дома. Что делать, война!

Куча серых тряпок, на ней самовар,
Шкафчик, рядом лошадь, над лошадью пар.

Вырастет на пустыре лебеда у стены.
Здесь навсегда поселятся бедные духи войны.

А то без них некому будет скулить по ночам,
Свистеть да гулять по нетопленым печам.

* * *

Вы нашей земли не считаете раем,
А краем пшеничным, чужим караваем,
Штыком вы отрезали лучшую треть,
Мы намертво знаем, за что умираем,—
Мы землю родную у вас отбираем,
А вам — за ворованный хлеб — умереть.

ЗУММЕР

Я бессмертен, пока я не умер,
И для тех, кто еще не рожден,
Разрываю пространство, как зуммер
Телефона грядущих времен.

Так последний связист под обстрелом,
От большого пути в стороне,
Прикрывает расстрелянным телом
Ящик свой на солдатском ремне.

На снегу в затвердевшей шинели,
Кулаки к подбородку прижав,
Он лежит, как дитя в колыбели,
Правотой несравненною прав.

Где когда-то с боями прошли мы
От большого пути в стороне,
Разбегается неповторимый
Терпкий звук на широкой волне.

Это старая честь боевая
Говорит:
—Я земля. Я земля,—
Под землей провода расправляя
И корнями овсов шевеля.

ПРОВОДЫ

Вытрет губы, наденет шинель
И, не глядя, жену поцелует.
А на улице ветер лютует,
Он из сердца повыдует хмель.

И потянется в город обоз,
Не добудешь ста грамм по дороге,
Только ветер бросается в ноги
И глаза обжигает до слез.

Был колхозником — станешь бойцом.
Пусть о родине, вольной и древней,
Мало песен сложили в деревне —
Выйдешь в поле, и дело с концом.

А на выезде плачет жена,
Причитая и руки ломая,
Словно дикие кони Мамая
Где-то близко, как в те времена,
Мчатся, снежную пыль поднимая,
Ветер бьет, и звенят стремена.

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ

Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась,
И видел я себя со стороны:
Я без довесков был уравновешен
Базарной жирной гирей.
Это было
Посередине снежного щита,
Щербатого по западному краю,
В кругу незамерзающих болот,
Деревьев с перебитыми ногами
И железнодорожных полустанков
С расколотыми черепами, черных
От снежных шапок, то двойных, а то
Тройных.
В тот день остановилось время,
Не шли часы, и души поездов
По насыпям не пролетали больше
Без фонарей, на серых ластах пара,
И ни вороньих свадеб, ни метелей,
Ни оттепелей не было в том лимбе,
Где я лежал в позоре, в наготе,
В крови своей, вне поля тяготенья
Грядущего.
Но сдвинулся и на оси пошел
По кругу щит слепительного снега,
И низко у меня над головой
Семерка самолетов развернулась,
И марля, как древесная кора,

На теле затвердела, и бежала
Чужая кровь из колбы в жилы мне,
И я дышал, как рыба на песке,
Глотая твердый, слюдяной, земной,
Холодный и благословенный воздух.

Мне губы обметало, и еще
Меня поили с ложки, и еще
Не мог я вспомнить, как меня зовут,
Но ожил у меня на языке
Псалом царя Давида.

А потом
И снег сошел, и ранняя весна
На цыпочки привстала и деревья
Окутала своим платком зеленым.

ПОЛЬКА

Все не спит палата госпитальная,
Радио не выключай — и только.
Тренькающая да беспечальная
Раненым пришлась по вкусу полька.

Наплевать, что ночь стоит за шторами,
Что повязка на культе промокла,—
Дребезжащий репродуктор шпорами
Бьет без удержу в дверные стекла.

Наплевать на уговоры нянины —
Только б свет оставила в палате.
И ногой здоровой каждый раненый
Барабанит польку на кровати.

СУББОТА, 21 ИЮНЯ

Пусть роют щели хоть под воскресенье.
В моих руках надежда на спасенье.

Как я хотел вернуться в до-войны,
Предупредить, кого убить должны!

Мне вон тому сказать необходимо:
«Иди сюда, и смерть промчится мимо».

Я знаю час, когда начнут войну,
Кто выживет, и кто умрет в плену,

И кто из нас окажется героем,
И кто расстрелян будет перед строем.

И сам я видел вражеских солдат,
Уже заполонивших Сталинград.

И видел я, как русская пехота
Штурмует Бранденбургские ворота.

Что до врага, то все известно мне,
Как ни одной разведке на войне.

Я говорю — не слушают, не слышат,
Несут цветы, субботним ветром дышат,

Уходят, пропусков не выдают,
В домашний возвращаются уют.

И я уже не помню сам, откуда
Пришел сюда и что случилось чудо.

Я все забыл. В окне еще светло,
И накрест не заклеено окно.

* * *

Смятенье смутное мне приносят
Горькие веянья весны.
О, как томятся и воли просят
Мои мучительные сны!

Всю ночь напролет голоса убитых
Плача упрашивают из земли:
— Помни кровь на конских копытах,
Помни наши лица в пыли.

Мы не запашем земли восточной,
Глина лежит на глазах у нас,
Кто нас омоет водой проточной,
Кто нас оденет в твой светлый час?

Только и властны над сонным слухом,
Если покажешь нам путь назад,
Мы прилетим тополевым пухом,
Как беспокойные сны летят.

* * *

Ученик зеленой травы,
Дитя материнских рощ,
Брат людей,
Певчих птиц побратим,—

Листья деревьев твоих
Стрельчатыми крыльями тронь:
Клены твои на войне
Я под корень рубил.

Четыре года беды,
Четыре года боев,
Четыре года разлук,
Четыре года смертей,—

А я с колыбельных дней
Слышал их смутный гул:
Опалила мне щеки война
Чуждым тебе огнем.

Спасибо тебе за то,
Что ты меня научил
Искавший тебя свинец
Рукой на лету ловить.

Если ты помнишь меня
И если меня позабыл,
На день грядущий — траву мою
И землю — благослови!

* * *

Кони ржут за Сулою...

Слово о полку Игореве

Русь моя, Россия, дом, земля и матерь!
Ты для новобрачного — свадебная скатерть,

Для младенца — колыбель, для юного — хмель,
Для скитальца — посох, пристань и постель,

Для пахаря — поле, для рыбаря — море,
Для друга — надежда, для недруга — горе,

Для кормщика — парус, для воина — меч,
Для книжника — книга, для пророка — речь,

Для молотобойца — молот и сила,
Для живых — отцовский кров, для мертвых — могила.

Для сердца сыновьего — негасимый свет.
Нет тебя прекрасней и желанней нет.

Разве даром уголь твоего глагола
Рдяным жаром вспыхнул под пятой монгола?

Разве горький Игорь, смертью смерть поправ,
Твой не красил кровью бебряный рукав?

Разве киноварный плащ с плеча Рублева
На ветру широком не полощет снова?

Как душе — дыханье, руке — рукоять,
Хоть бы в пропасть кинуться — тебя отстоять.

* * *

Тебе не наскучило каждому сниться,
Кто с князем твоим горевал на войне,
О чем же ты плачешь, княгиня зегица,
О чем ты поешь на кремлевской стене?

Твой Игорь не умер в плену от печали,
Погоне назло доконал он коня,
А как мы рубились на темной Каяле —
Твой князь на Каяле оставил меня.

И впору бы мне тетивой удавиться,
У каменной бабы воды попросить.
О том ли в Путивле кукуешь, зегица,
Что некому раны мои остудить?

Так долго я спал, что по русские очи
С каленым железом пришла татарва,
А смерть твоего кукованья короче,
От крови моей почернела трава.

Спасибо тебе, что стонала и пела.
Я ветром иду по горячей золе,
А ты разнеси мое смертное тело
На сизом крыле по родимой земле.

ЗЕМЛЯ

За то, что на свете я жил неумело,
За то, что не кривдой служил я тебе,
За то, что имел небессмертное тело,
Я дивной твоей сопричастен судьбе.

К тебе, истомившись, потянутся руки
С такой наболевшей любовью обнять,
Я снова пойду за Великие Луки,
Чтоб снова мне крестные муки принять.

И грязь на дорогах твоих несладима,
И тощая глина твоя солона.
Слезами солдатскими будешь хранима
И вдовьей смертельною скорбью сильна.

ДУМА

И горько стало мне,
что жизнь моя прошла,
Что ради замысла я потрудился мало,
Но за меня добро вставало против зла,
И правда за меня под кривдой умирала.

Я не в младенчестве, а там,
где жизни ждал,
В крови у пращуров,
у древних трав под спудом,
И целью и путем враждующих начал,
Предметом спора их
я стал каким-то чудом.

И если в дерево впивается пила,
И око божие затравленного зверя,
Как мутная вода, подергивает мгла,
И мается дитя, своим врачам не веря,

И если изморозь ложится на хлеба,
Тайга безбрежная пылает предо мною,
Я не могу сказать, что такова судьба,
И горько верить мне, что я тому виною.

Когда была война, поистине как ночь
Была моя душа.
Но — жертва всех сражений —
Как зверь, ощерившись,
пошла добру помочь

Душа, глотая смерть, —
мой беззащитный гений.

Все на земле живет порукой круговой,
И если за меня спокон веков боролась
Листва древесная —
я должен стать листвой,
И каждому зерну подать я должен голос.

Все на земле живет порукой круговой:
Созвездье, и земля, и человек, и птица.
А кто служил добру, летит вниз головой
В их омут царственный
и смерти не боится.

Он выплывет еще и сразу, как пловец,
С такою влагою навеки породнится,
Что он и сам сказать не сможет, наконец,
Звезда он, иль земля, иль человек,
иль птица.

* * *

За хлеб мой насущный, за каждую каплю воды
Спасибо скажу,
За то, что адамовы я повторяю труды,
Спасибо скажу.

За этот пророческий, этот бессмысленный дар,
За то, что нельзя
Ни словом, ни птичьим заклятьем спастись от беды,
Спасибо скажу.

За то, что в родимую душную землю сойду,
В траву перельюсь,
За то, что мой путь — от земли до высокой звезды,
Спасибо скажу.

* * *

Из просеки, лунным стеклом
По самое горло залитой,
Рулады свои напролом
Катил соловей знаменитый.

Он был и дитя, и поэт,
И силы у вечера нету,
Чтоб застить пленительный свет
Такому большому поэту.

Он пел, потому что не мог
Не петь, потому что у крови
Есть самоубийственный срок,
И страсть вне житейских условий.

Покуда при поздней звезде
Бродяжило по миру лихо,
Спокойно в семейном гнезде
Дремала его соловьиха.

СЛОВАРЬ

Я ветвь меньшая от ствола России,
Я плоть ее, и до листвы моей
Доходят жилы влажные, стальные,
Льняные, кровяные, костяные,
Прямые продолжения корней.

Есть высоты властительная тяга,
И потому бессмертен я, пока
Течет по жилам — боль моя и благо —
Ключей подземных ледяная влага,
Все э р и э л ь святого языка.

Я призван к жизни кровью всех рождений
И всех смертей, я жил во времена,
Когда народа безымянный гений
Немую плоть предметов и явлений
Одушевлял, даруя имена.

Его словарь открыт во всю страницу,
От облаков до глубины земной.
Разумной речи научить синицу
И лист единый заронить в криницу,
Зеленый, рдяный, ржавый, золотой...

АНЖЕЛО СЕККИ

— Прости, мой дорогой мерцовский экваториал!

Слова Секки

Здесь, в Риме, после долгого изгнанья,
Седой, полуслепой, полуживой,
Один среди небесного сиянья,
Стоит он с непокрытой головой.

Дыханье Рима — как сухие травы.
Привет тебе, последняя ступень!
Судьба лукава, и цари неправы,
А все-таки настал и этот день.

От мерцовского экваториала
Он старых рук не властен оторвать;
Урания не станет, как бывало,
В пустынной этой башне пировать.

Глотая горький воздух, гладит Секки
Давным-давно не чищенную медь.
— Прекрасный друг, расстанемся навеки,
Дай мне теперь спокойно умереть.

Он сходит по ступеням обветшалым
К небытию, во прах, на Страшный суд,
И ласточки над экваториалом,
Как вестницы забвения, снуют.

Еще ребенком я оплакал эту
Высокую, мне родственную тень,
Чтоб, вслед за ней пройдя по белу свету,
Благословить последнюю ступень.

КОМИТАС

Ничего душа не хочет,
И, не открывая глаз,
В небо смотрит и бормочет,
Как безумный, Комитас.

Медленно идут светила
По спирали в вышине,
Будто их заговорила
Сила, спящая во мне.

Вся в крови моя рубаха,
Потому что и меня
Обдувает ветром страх
Стародавняя резня.

И опять Айя-Софии
Камень ходит предо мной,
И земля ступни босые
Обжигает мне золой.

Лазарь вышел из гробницы,
А ему и дела нет,
Что летит в его глазницы
Белый яблоневый цвет.

До утра в гортани воздух
Шелушится, как слюда,
И стоит в багровых звездах
Кривда Страшного суда.

* * *

Невысокие, сырые
Были комнаты в дому.
Называть ее Марией
Горько сердцу моему

Три окошка, три ступени,
Темный дикий виноград.
Бедной жизни бедный гений
Из окошка смотрит в сад.

И десятый вальс Шопена
До конца не дозвучит,
Свежескошенного сена
Рядом струйка пробежит.

Не забудешь? Не изменишь?
Не расскажешь никому?
А потом был продан «Рениш»[1]
Только шелк шумел в дому.

Синий шелк простого платья,
И душа еще была
От последнего объятья
Легче птичьего крыла.

В листьях, за ночь облетевших,
Невысокое крыльцо

---

[1] «Рениш» — марка фортепьяно.

И на пальцах похудевших
Бирюзовое кольцо.

И горячечный румянец,
Серо-синие глаза,
И снежинок ранний танец,
Почерневшая лоза.

Шубку на плечи, смеется,
Не наденет в рукава.
Ветер дунет, снег взовьется...
Вот и все, чем смерть жива.

* * *

> Меловой да соляной
> Твой Славянск родной,
> Надоело быть одной —
> Посиди со мной...

Стол накрыт на шестерых,
Розы да хрусталь,
А среди гостей моих
Горе да печаль.

И со мною мой отец,
И со мною брат.
Час проходит. Наконец
У дверей стучат.

Как двенадцать лет назад,
Холодна рука
И немодные шумят
Синие шелка.

И вино звенит из тьмы,
И поет стекло:
«Как тебя любили мы,
Сколько лет прошло!»

Улыбнется мне отец,
Брат нальет вина,
Даст мне руку без колец,
Скажет мне она:

— Каблучки мои в пыли,
Выцвела коса,
И поют из-под земли
Наши голоса.

ССОРА

Про́клятые, сдвинутые брови,
Бирюзы разорванная нить.
Малой капли сумасшедшей крови
Хватит, чтобы разум помутить.

Но не так на женской половине,
Ослепляя дикие глаза,
Прыгала по вытоптанной глине
Крупная больная бирюза.

Девочку зарезали в ауле,
Чтобы улыбнуться не могла,
В дагестанский коврик завернули,
Положили поперек седла.

Разве, на пол бирюзу швыряя,
В серые глаза не загляну,
Разве, камни с пола подбирая,
Рук моих тебе не протяну?

Разве ты напрасно ждешь ответа
На скупые жалобы свои
И не растворилась капля эта
В равнодушной северной крови?

Разве так она горела, злая,
В тот безумный безымянный год,
Разве ангел ревности, сияя,
Азраила шепотом зовет?

Ходит ангел ревности по дому,
Ищет утешения в словах,
Чтобы я терзался по-иному,
А тебя не мучил древний страх.

Иль от поколенья к поколенью
Выродились ангелы страстей,
Ангел смерти встанет нищей тенью,—
Ровня, слепок ревности моей?

* * *

Лучше я побуду в коридоре, —
Что мне делать в комнате твоей?
Пусть глядит неприбранное горе
Из твоих незапертых дверей.

Угол, где стояли чемоданы,
Осторожной пылью занесло.
День опустошенный, тюль туманный,
Туалетное стекло.

Будут гости — не подай и вида,
Что ушла отсюда навсегда:
Все уйдут — останется обида,
Все пройдет — останется беда.

Тихо-тихо, лишь настороженный
Женский голос плачет за стеной,
Дальний голос, голос раздраженный
В нетерпенье плачет надо мной:

— Никому на свете не завидуй,
Я тебя забыла навсегда,
Сердце есть — пускай сожжет обиду,
Пусть в крови перегорит беда.

ПОРТРЕТ

Никого со мною нет.
На стене висит портрет.

По слепым глазам старухи
Ходят мухи,
мухи,
мухи.

— Хорошо ли,— говорю,—
Под стеклом в твоем раю?

По щеке сползает муха,
Отвечает мне старуха:

— А тебе в твоем дому
Хорошо ли одному?

* * *

Какие скорбные просторы,
Какие мокрые заборы
И эта полунагота
Деревьев, эта нищета,
Когда уже скрывать не нужно
Ни жалких слез, ни старых ран,
Как будто в слабости недужной
Всего желанней не обман,
А мелкий дождь, сквозной туман
И тленья вкрадчивый дурман.

Деревья лгут. Зачем все это
Оцепененье желтизны,
Где столько воздуха и света
Тебе напоминает сны,
Когда ты падаешь и знаешь,
Что это — смерть, и, пробудясь,
Почти мгновенно забываешь
С ночными призраками связь?

Не верь деревьям. В эту пору
Они — притворщики. Они
Солгут, что твоему позору
Их обнажение сродни,
Что между сучьями нагими
Есть руки слабые твои,
Что и они могли бы ими
Коснуться неба в забытьи,
Но есть еще соблазн паденья

На лоно матери-земли,
И только смертного томленья
Их листья не превозмогли.

Не верь их нищему покою,
Тебя обманывает он,
Деревьям нужно быть с тобою —
И взять тебя в свой зимний сон,
Озябнуть у холодной дачи
От поздних листьев до корней,
И лгать, что лед в крови горячей
Тем сладостней, чем жить трудней.

ПОСВЯЩЕНИЕ

I

Во мне живет глухое беспокойство
Древесных крон, не спящих по ночам,
Я, как стихи, предсказываю свойства,
Присущие и людям и вещам.

Затем, что я дышал, как дышит слово,
Я эхом был среди учеников,
Был отголоском голоса чужого,
Затерянного в хоре голосов.

Мир, словно мальчик семилетний, гибок;
Цвела гроза,— он, как дитя, затих,
Но вороха́ наследственных ошибок
В те дни лежали на руках моих.

Вся жизнь моя пришла и стала рядом,
Как будто вправду много лет прошло,
И мне чужим, зеленоватым взглядом
Ответило зеркальное стекло.

Я вздрагивал при каждом лживом звуке,
Я думал: дай мне руки опростать:
И, просыпаясь, высвободил руки,
Чтоб научиться говорить опять.

Пугаясь, я ощупывал предметы —
Тела медуз в мерцающей воде,

Древесный корень, музыкой согретый,
И мрамор, запрокинутый к звезде.

И я учился говорить, как в детстве,
Своим косноязычием томим.
А если дети вспомнят о наследстве,
Все, что имею, оставляю им.

II

И каждый вспомнит светлый город детства,
Аул в горах, станицу над рекой,
Где от отцов мы приняли в наследство
Любовь к земле, навеки дорогой.

Где матери у наших колыбелей
Ночей не спали, где учились мы,
Где первым вдохновением кипели
Над книгой наши юные умы.

Где в первый раз любили мы, не смея
Признаться в том, где мы росли в борьбе,
Где мы клялись пред совестью своею
В ненарушимой верности тебе...

Шумят деревья городской аллеи,
Как факелы зеленого огня.
Я их отдам, они тебе нужнее,
Приди, возьми деревья у меня.

Приди, возьми весь город мой, он будет
Твоим — и ты заснешь в траве моей.
Свист ласточек моих тебя разбудит,
Я их отдам, они тебе нужней.

Все, чем я жил за столько лет отсюда,
За столько верст от памяти твоей,
Ты вызовешь, не совершая чуда,
Не прерывая сговора теней.

Я первый гость в день твоего рожденья,
И мне дано с тобою жить вдвоем,
Входить в твои ночные сновиденья
И отражаться в зеркале твоем.

III

Как паутина тянется остаток
Всего, что мне казалось дорогим,
И страшно мне, что мнимый отпечаток
Оставлю я наследникам своим.

И, может быть, играющие дети,
И обо мне припомнив на лету,
Не отличат бессвязных междометий
От слов, обозначавших слепоту.

Я не был слеп. Я видел все, что было,
Что стало жизнью сверстников моих,
Что время подписью своей скрепило
И пронесло у сонных глаз слепых.

Я видел все, что стало видно зрячим,
Как свет зари сквозь переплет ветвей.
Возьми ж и горечь, что напрасно прячем
От наших дочерей и сыновей.

IV

Так я учился говорить сначала,
И трудный дар я принял в грозный год,

Когда любовь мне щеки обжигала
И смертный к сердцу прижимала лед.

И ревность припадала к изголовью
И на ухо шептала мне:
— Смотри,
Пока ты спишь, затравленный любовью,
Погасли городские фонари.

Я, верная, глаза тебе открою:
Тебя освобождая навсегда,
На простынях, под розовой зарею,
Лежит твоя последняя звезда...

И я бежал от моего порога
Туда, где свет в лицо наотмашь бьет,
По городу гнала меня тревога —
И я увидел молний переплет.

Они летели стаей лебединой,
Я не считал, их было больше ста,
Летели вдаль над площадью пустынной,
В их клювах колыхалась высота.

Так медленно летели, что казалось,—
Пусть новый день горит у самых глаз,—
Как эта горечь навсегда осталась,
Их отблески останутся у нас.

Возьми же их, они тебе нужнее,
Пусть их коснется детская рука,
И ревности коснись еще нежнее,
Чтобы любовь была тебе легка.

V

И небо просинело, оживая,
И стала опускаться высота,
И под колеса первого трамвая
Легли торцы высокого моста.

И в час, когда твой город исполинский
Весь в зелени восходит на заре —
Лежишь, дитя, в утробе материнской
В полупрозрачном нежном пузыре.

И, может быть, ты ничего не видишь,
Но солнце проплывает над тобой...

* * *

Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке,
Все никак не мог проститься и листок держал в руке.

Свет растекся по брусчатке. На ресницы и на мех
И на серые перчатки начал падать мокрый снег.

Шел фонарщик, обернулся, возле нас фонарь зажег,
Засвистел фонарь, запнулся, как пастушеский рожок,

И рассыпался неловкий, бестолковый разговор
Легче пуха, мельче дроби... Десять лет прошло с тех пор.

Даже адрес потерял я, даже имя позабыл
И потом любил другую, ту, что горше всех любил.

А идешь — и капнет с крыши: дом и ниша у ворот,
Белый шар над круглой нишей — и читаешь, кто живет?

Есть особые ворота и особые дома,
Есть особая примета — точно молодость сама...

* * *

Т. О.-Т.

Я боюсь, что слишком поздно
Стало сниться счастье мне.
Я боюсь, что слишком поздно
Потянулся я к беззвездной
И чужой твоей стране.

Мне-то ведомо, какою —
Ночью темной, без огня,
Мне-то ведомо, какою
Неспокойной, молодою
Ты бываешь без меня.

Я-то знаю, как другие,
В поздний час твоей тоски,
Я-то знаю, как другие
Смотрят в эти роковые,
Слишком темные зрачки.

И в моей ночи ревнивой
Каблучки твои стучат,
И в моей ночи ревнивой
Над тобою дышит диво —
Первых оттепелей чад.

Был и я когда-то молод.
Ты пришла из тех ночей.
Был и я когда-то молод,
Мне понятен душный холод,
Вешний лед в крови твоей.

* * *

— Здравствуй, — сказал я, а сердце упало, —
Верно, и впрямь совершается чудо! —
Смотрит, смеется:
— Я прямо с вокзала.
— Что ты! — сказал я. — Куда да откуда?
Хоть бы открытку с дороги прислала.
— Вот я приехала, разве не слышишь,
Разве не видишь, я прямо с вокзала,
Я на минутку к тебе забежала,
А на открытке всего не напишешь.
Думай и делай теперь что угодно,
Я-то ведь рада, что стала свободной...

* * *

Кем налит был стакан до половины
И почему нет розы на столе?
Не роза, нет! А этот след карминный,
А этот слабый запах на стекле?

К рассвету соскользнуло одеяло,
И встала ты, когда весь мир затих,
И в смутный час кувшин с водой искала,
И побывала в комнатах моих.

Не твой ли свет — игра воды в стакане?
А на стекле остался легкий след,
Как будто мало мне напоминаний
О той заре, куда возврата нет.

Ты в белом спишь и ты, должно быть, рада,
Сквозь явь и сон, как белый луч скользя,
Что о себе мне говорить не надо
И ни о чем напоминать нельзя.

* * *

Мне странно, и душно, и томно,
Мне больно, и кажется мне,
Что стал я ладьей на огромной
Бездомной и темной волне.

И нет мне на свете причала,
И мимо идут времена;
До смерти меня укачала
Чужая твоя глубина.

И стоит ли помнить, что прежде,
Когда еще молод я был,
Я верил какой-то надежде
И берег мой горько любил?

Прилива бездушная сила
Меня увела от земли,
Чтоб соль мои плечи точила
И весел моих не нашли.

Так вот что я голосом крови
В просторе твоем называл:
Доверясь последней любови,
Я привязь мою оборвал.

И сам я не знаю, какие
Мне чудятся связи твои
С недоброй морскою стихией,
Качающей наши ладьи.

Качаясь, уходят под воду,
Где рыбы чуть дышат на дне,
Во мглу, в тишину, в несвободу,
Любовью сужденную мне...

* * *

Я так давно родился,
Что слышу иногда,
Как надо мной проходит
Студеная вода,
А я лежу на дне речном,
И, если песню петь,
С песку начнем, песку зачерпнем
И губ не разомкнем.

Я так давно родился,
Что больше петь не могу,
И город мне приснился
На дальнем берегу,
А я лежу на дне речном
И вижу из воды
Далекий свет, высокий дом,
Зеленый луч звезды.

Я так давно родился,
Что если ты придешь
И руку положишь мне на глаза,
То это будет ложь,
А я тебя удержать не могу,
И если ты уйдешь
И я за тобой не пойду, как слепой,
То это будет ложь.

ВЕЩИ

Все меньше тех вещей, среди которых
Я в детстве жил, на свете остается.
Где лампы-«молнии»? Где черный порох?
Где черная вода со дна колодца?

Где «Остров мертвых» в декадентской раме?
Где плюшевые красные диваны?
Где фотографии мужчин с усами?
Где тростниковые аэропланы?

Где Надсона чахоточный трехдольник,
Визитки на красавцах адвокатах,
Пахучие калоши «Треугольник»
И страусова нега плеч покатых?

Где кудри символистов полупьяных?
Где рослых футуристов затрапезы?
Где лозунги на липах и каштанах,
Бандитов сумасшедшие обрезы?

Где твердый знак и буква «ять» с «фитою»?
Одно ушло, другое изменилось,
И что не отделилось запятою,
То запятой и смертью отделилось.

Я сделал для грядущего так мало,
Но только по грядущему тоскую
И не желаю начинать сначала:
Быть может, я работал не впустую.

А где у новых спутников порука,
Что мне принадлежат они по праву?
Я посягаю на игрушки внука,
Хлеб правнука, праправнукову славу.

ЮРОДИВЫЙ В 1918 ГОДУ

За квелую душу и мертвое царское тело
Юродивый молится, ручкой крестясь посинелой,
Ногами сучит на раскольничьем хрустком суку:
— Ай, маменька,
тетенька,
бабенька,
гули-агу!
Дай Феде просвирку,
дай сирому Феде керéнку,
дай, царь-государь,
импелай Николай,
на иконку!
Царица-лисица,
бух-бух,
помалей Алалей,
дай Феде цна-цна,
исцели,
не стрели,
Пантелей!

Что дали ему Византии орлы золотые,
И чем одарил его царский штандарт над Россией,
Парад перед Зимним, Кшесинская, Ленский расстрел?
Что слышал — то слушал, что слушал — понять
не успел.

Гунявый, слюнявый, трясет своей вшивой рогожей,
И хлебную корочку гложет на белку похоже,
И красногвардейцу все тычется плешью в сапог.
А тот говорит: — Не трясись, ешь спокойно, браток!

ЖИЛИ-БЫЛИ

Вся Россия голодала,
Чуть жила на холоду,
Граммофоны, одеяла,
Стулья, шапки, что попало
На пшено и соль меняла
В девятнадцатом году.

Брата старшего убили,
И отец уже ослеп,
Все имущество спустили,
Жили как в пустой могиле,
Жили-были, воду пили
И пекли крапивный хлеб.

Мать согнулась, постарела,
Поседела в сорок лет
И на худенькое тело
Рвань по-нищенски надела;
Ляжет спать — я то и дело:
Дышит мама или нет?

Гости что-то стали редки
В девятнадцатом году.
Сердобольные соседки
Тоже, будто птицы в клетке
На своей засохшей ветке,
Жили у себя в аду.

Но картошки гниловатой
Нам соседка принесла
И сказала:
— Как богато
Жили нищие когда-то.
Бог Россию виноватой
Счел за Гришкины дела.

Вечер был. Сказала:
— Ешьте! —
Подала лепешки мать.
Муза в розовой одежде,
Не являвшаяся прежде,
Вдруг предстала мне в надежде
Не давать ночами спать.

Первое стихотворенье
Сочинял я как в бреду:
«Из картошки в воскресенье
Мама испекла печенье!»
Так познал я вдохновенье
В девятнадцатом году.

* * *

Кухарка жирная у скаред
На сковородке мясо жарит,
И приправляет чесноком,
Шафраном, уксусом и перцем,
И побирушку за окном
Костит и проклинает с сердцем.

А я бы тоже съел кусок,
Погрыз бараний позвонок
И, как хозяин, кружку пива
Хватил и завалился спать:
Кляните, мол, судите криво,
Голодных сытым не понять.

У, как я голодал мальчишкой!
Тетрадь стихов таскал под мышкой,
Баранку на два дня делил:
Положишь на зубок ошибкой...
И стал жильем певучих сил,
Какой-то невесомой скрипкой.

Сквозил я, как рыбачья сеть,
И над землею мог висеть.
Осенний дождь, двойник мой серый,
Долдонил в уши свой рассказ,
В облаву милиционеры
Ходили сквозь меня не раз.

А фонари в цветных размывах
В тех переулках шелудивых,
Где летом шагу не ступить,
Чтобы влюбленных в подворотне
Не всполошить!.. Я, может быть,
Воров московских был бесплотней,

Я в спальни тенью проникал,
Летал, как пух из одеял,
И молодости клясть не буду
За росчерк звезд над головой,
За глупое пристрастье к чуду
И за карман дырявый свой.

25 ИЮНЯ

Хорош ли праздник мой — малиновый иль серый, —
Но все мне кажется, что розы на окне.
Нет, не признательность, а чувство полной меры
Бывает в этот день всегда присуще мне.
А если я неправ, как был всегда, на что же
Мне тишина травы, и дружба рощ моих,
И стрелы птичьих крыл, и плеск ручьев, похожий
На объяснение в любви глухонемых?

ИЗ АНАКРЕОНА

Виноградною лозою
Гнал меня Эрот жестокий
По морозу и по зною,
Через горы и потоки.

Замер я над черной кручей,
Точно пьяный или сонный,
И упал — стрелой певучей
Прямо в сердце пораженный.

И сказал мне бог крылатый:
— Смертный сердца не укроет,
Понапрасну ладит латы,
Понапрасну лиру строит.

Я того, кто ранен мною,
Никогда не забываю:
Раны влагой неземною,
Слезной влагой омываю.

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ БАЙРОНА

Да. Он со мной. Летучее движенье
Прекрасных губ и синий пламень глаз
Тревогой странной проникают в нас
И тайное тревожат сновиденье.

Зеленых вод прозрачное волненье
На той заре он видел в смертный час,
И ветер Ньюстеда трубил и гас
И слышал плач и мрачной лиры пенье.

У скал Афин еще гудел прибой,
Бежала ночь за выгнутой кормой,
Но запах вод был горечью отравлен.

Но сердце было ветром зажжено,
И сталь клинка расправило оно,
И смертный час был в грудь ему направлен

ШОТЛАНДСКАЯ ПЕСНЯ

Прощай, прощай, не скучай по мне.
Я скоро соскучусь по дому.
Ты верь: я любила тебя, а теперь
Я буду верна другому.

Идет на запад мой пароход,
Мой город проходит мимо;
Мой друг немолод, угрюм и ревнив,
Глаза холоднее дыма.

Пускай он ни слова не хочет сказать,
Глаза холоднее дыма,
Пускай вдали от родной земли
Не буду я любима.

На жизнь и на смерть я люблю его,
Мне сладок ветер соленый.
Прощай, прощай, мой туманный край,
Мой берег зеленый.

Прощай, прощай, не скучай по мне;
Бессонный дом, прощай,—
Далекие клены, родимый край,
Прощай, мой берег зеленый.

МАСЛИЧНАЯ РОЩА

Город Лидий когда-то
В Малой Азии был.
Не кремлем, не рекой, не домами,
Не красотой горожанок,
Не богатством, не красным товаром
Славился этот город.

Приезжали туда не затем,
Чтобы торговлю вести,
Пьянствовать или жениться.
В Лидии возле базара
Небольшая роща была.
Там лежала серая пыль
На листве масличных деревьев,
Тени было немного
Под седыми, безрадостными ветвями,
Где ни птицы, ни мотыльки
Приюта не находили.

Кто ни приехал бы в город,
Мог в эту рощу войти
И, не творя заклинаний,
Выпросить дар у нее.
Но ничего, что на пользу
Вам послужить бы могло,
Ни еды, ни питья, ни одежды,
Ни богатства, ни славы
Не получили бы вы,—
Только бессмысленный дар,

Никому на свете не нужный,
Разве что жалкий цветок
Из тех, что за грош на базаре
Вам уступили бы сотню.

В роще платить приходилось
За все, что в ней получали,—
Будь это воспоминанье,
Пестрое птичье перо
Или шарик стеклянный,—
Странным движением рук
Наподобие буквы «А»
На мгновение в воздухе пыльном
Оставалось это движенье
После того, как ладони
Уже завершали его —
Еле приметный синий
Отсвет,— признак расплаты:
Частицей собственной жизни
Там приходилось платить.

Мало кому был нужен
Город с его чудесами,
А я бы туда поехал,
Вошел бы в масличную рощу,
Светло-синее «А» начертил.
Получил бы я — бесполезный
Дар бессмысленной песни,
Я бы забыл немоту
На бумаге написанных слов,
Но не запел бы как птица:
Не хочу я ни цоканий этих,
Мучащих бедные души
Занятых делом людей,
Ни серебряной дроби, ни свиста,
Ни цивинь, от которых до слез

Ближе, чем от земли до созвездий,—
Пел бы я — как земля,
Когда по ней ступают,
Как деревья, когда их не видят,
Как трава, когда мы забыли,
Что она уже зелена,
Как вода ключевая в пустыне.

Этот город мне снился.
Он, быть может, где-нибудь есть:
Без следа расточиться нельзя
Беспокойным горьким стихам,
На земле не нашедшим приюта,
Снилась мне эта роща,
И пока не истлела тетрадь
И стихи не рассыпались прахом...

Пусть рассыплются прахом,
Пусть травой прорастут,
Обернутся листвою древесной.
Я любил эту землю,
Я жил на этой земле.
Если хотелось мне пить,
Я воду искал ключевую,
Петь я учился у птиц...
Пусть научатся песне хоть камни
С голоса моего.

* * *

Все стало таким, будто мост разводят,
Сдвинулось вкривь и вкось,
Ты пришла, но так не приходят,
Слишком долго ждать пришлось.

И стало ясно: пара весел
Тихую воду сведет с ума.
Я бы тебя на землю сбросил,
Если бы ты не пришла сама.

Был после наших речных прогулок
Темен твой бесприютный дом;
Зачем я увидел твой переулок,
Разве ты мало любила в нем?

Твой сон беспокоен, мой стих незвонок,
Крепче железа наша связь,
Помнишь, какой крылатый ребенок
Умер в больнице, едва родясь?

Что же мне делать в замкнутом круге?
Холоден твой недобрый взгляд,
К тебе приходят твои подруги,
Тебя жалеют и мне грозят.

Это — твоя звезда раскололась,
Считать начнешь — не сочтешь обид,
Горло мне душит твоя веселость,
Голова от нее болит.

* * *

Да не коснутся тьма и тлен
Июньской розы на окне,
Да будет улица светла,
Да будет мир благословен
И благосклонна жизнь ко мне,
Как столько лет назад была!

Как столько лет назад, когда
Едва открытые глаза
Не понимали, как им быть,
И в травы падала вода,
И с ними первая гроза
Еще училась говорить.

Я в этот день увидел свет,
Шумели ветви за окном,
Качаясь в пузырях стекла,
И стала на пороге лет
С корзинами в руках, и в дом,
Смеясь, цветочница вошла.

Отвесный дождь упал в траву,
И снизу ласточка взвилась,
И этот день был первым днем
Из тех, что чудом наяву
Светились, как шары, дробясь
В росе на лепестке любом.

* * *

Я вспомнил далекие годы,
Мне снится — я снова стою
Под ранней звездой свободы
В степном неоглядном краю,

Где странник захожий — ошибкой
Мне силу недобрую дал
И стал я певучим, как скрипка,
И легким от голода стал.

Я долго скитался по свету,
И много растратил я сил,
Но муку блаженную эту,
Певучую силу растил.

И меркою меря привычной,
Теплом и покоем дразня,
Похлебкой своей чечевичной
Напрасно прельщаешь меня.

Удары судьбы принимая,
Но взыскан высокой судьбой,
Земля мне навеки родная,—
Как равный стою пред тобой.

И стоит мое первородство
Того, чтобы в отчем краю
Нелегкое бремя сиротства
Нести как недолю свою.

* * *

Она

Кто небо мое разглядит из окна,
Гвоздику мою уберет со стола?
Теперь я твоя молодая жена,
Я девочкой-молнией прежде была —

И в поднятых пальцах моих — не цветок,
А промельк его и твое забытье,
Не лист на стебле, а стрелы острие,
А в левой — искомканный белый платок.

Любила — в коленчатых травах сады,—
Как дико и молодо сердце мое!
На что же мне буря в стакане воды,
На что мне твой дом и твое забытье?

Он

Вернись, я на волю смотрю из окна,
Прости, я тебя призываю опять,
Смотри, как взлетает и плещет она:
Как мог я в стакане ее удержать?

* * *

Т. О.-Т.

Вечерний, сизокрылый,
Благословенный свет!
Я словно из могилы
Смотрю тебе вослед.

Благодарю за каждый
Глоток воды живой,
В часы последней жажды
Подаренный тобой,

За каждое движенье
Твоих прохладных рук,
За то, что утешенья
Не нахожу вокруг,

За то, что ты надежды
Уводишь, уходя,
И ткань твоей одежды
Из ветра и дождя.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Я не буду спать
Ночью новогодней,
Новую тетрадь
Я начну сегодня.

Ради смысла дат
И преображенья
С головы до пят
В плоть стихотворенья —

Год переберу,
Месяцы по строчке
Передам перу
До последней точки.

Где оно — во мне
Или за дверями,
В яви или сне
За семью морями,

В пляске по снегам
Белой круговерти,—
Я не знаю сам,
В чем мое бессмертье,

Но из декабря
Брошусь к вам, живущим
Вне календаря,
Наравне с грядущим.

О, когда бы рук
Мне достало на год
Кончить новый круг!..
Строчки сами лягут...

КАКТУС

Далеко, далеко, за полсвета
От родимых долгот и широт,
Допотопное чудище это
У меня на окошке живет.

Что ему до воклюзского лавра
И персидских мучительниц-роз,
Если он под пятой бронтозавра
Ластовидной листвою оброс?

Терпеливый приемыш чужбины,
Доживая стотысячный век,
Гонит он из тугой сердцевины
Восковой криворукий побег.

Жажда жизни кору пробивала,—
Он живет во всю ширь своих плеч
Той же силой, что нам даровала
И в могилах звучащая речь.

СТИХИ ИЗ ДЕТСКОЙ ТЕТРАДИ

...О, матерь Ахайя,
Пробудись, я твой лучник последний...

Из тетради 1921 г.

Почему захотелось мне снова,
Как в далекие детские годы,
Ради шутки не тратить ни слова,
Сочинять величавые оды,

Штурмовать олимпийские кручи,
Нимф искать по лазурным пещерам
И гекзаметр без всяких созвучий
Предпочесть новомодным размерам?

Географию древнего мира
На четверку я помню, как в детстве,
И могла ли Алкеева лира
У меня оказаться в наследстве?

Надо мной не смеялись матросы.
Я читал им:
«О, матерь Ахайя!»
Мне дарили они папиросы,
По какой-то Ахайе вздыхая.

За гекзаметр в холодном вокзале,
Где жила молодая свобода,
Мне военные люди давали
Черный хлеб двадцать первого года.

Значит, шел я по верной дороге,
По кремнистой дороге поэта,
И неправда, что Пан козлоногий
До меня еще сгинул со света.

Босиком, но в буденновском шлеме,
Бедный мальчик в священном дурмане,
Верен той же аттической теме,
Я блуждал без копейки в кармане.

Ямб затасканный, рифма плохая —
Только бредни, постылые бредни,
И достойней:
«О, матерь Ахайя,
Пробудись, я твой лучник последний...»

МЕДЕМ

Музыке учился я когда-то,
По складам лады перебирал,
Мучился ребяческой сонатой,
Никогда Ганона[1] не играл.
С нотами я приходил по средам,—
Поверну звоночек у дверей,
И навстречу мне выходит Медем
В бумазейной курточке своей.
Неуклюж был великан лукавый:
В темный сон рояля-старика
Сверху вниз на полторы октавы
По-медвежьи падала рука.

И, клубясь в басах, летела свора,
Шла охота в путаном лесу,
Голоса охотничьего хора
За ручьем качались на весу.

се кончалось шуткой по-немецки,
Голубым прищуренным глазком,
Сединой, остриженной по-детски,
Говорком, скакавшим кувырком.

И еще не догадавшись, где я,
Из лесу не выбравшись еще,

---

[1] Ганон — руководство по изучению игры на фортепьяно.

Я урок ему играл, робея:
Медем клал мне руку на плечо.

Много было в заспанном рояле
Белого и черного огня,
Клавиши мне пальцы обжигали,
И сердился Медем на меня.

Поскучало детство, убежало.
Если я в мой город попаду,
Заблужусь в потемках у вокзала,
Никуда дороги не найду.

Почему ж идешь за мною следом,
Детство, и не выступишь вперед?
Или снова руку старый Медем
Над клавиатурой занесет?

НОТЫ

Казалось — жизнь проста, как правильный канон,
В пяти тонах живешь, играя,
Пока тебя еще не начинал Ганон
Швырять от края и до края.

Не хватит нáдолго мальчишеских сонат,
Все это чушь, горох стеклянный,
Жизнь говорит не так, сонаты прошумят,
Но не забудь «Сицилианы»[1].

Как хороша сирень и память хороша!
По клавишам бежит досада;
Достаточно в росу бросаться не дыша,
В такое время нот не надо.

А ноты кто-нибудь под самый Новый год
По черной крышке разбросает.
И, может быть, матрос к роялю подойдет,
По слуху «яблочко» сыграет.

И скажет: «Может быть, все это где-то здесь,
Не то в конце, не то в начале,
Я мог бы вспомнить все, всю жизнь и праздник весь,
Когда б страниц не растеряли...»

---

[1] Бах.

* * *

Мне снится какое-то море,
Какой-то чужой пароход,
И горе, какое-то горе
Мне темное сердце гнетет.

Далекие медные трубы
На палубе нижней слышны
Да скрежет, тяжелый и грубый,
Запятнанной нефтью волны.

И если заплачет сирена
Среди расступившихся вод,
Из этого странного плена
Никто никогда не уйдет.

Покоя не знающий странник,
Кляну я чужой пароход,
Я знаю, что это «Т и т а н и к»
И что меня в плаванье ждет.

Мне дико, что там, за кормою,
Вдали, за холодной волной,
Навеки покинутый мною
Остался мой город родной.

* * *

Меркнет зрение — сила моя,
Два незримых алмазных копья;
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома;
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волы;
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.

Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть,
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово.

* * *

Пора бы мне собственный возраст понять,
Пора костылями поменьше стучать,
Забыть о горячке певучей,
Пора наполнять не стихами тетрадь,
А прозой без всяких созвучий.

Пора научиться гореть, не горя,
Пора не дивиться тому, что заря,
Как ранняя юность, тревожна,
Что зори, пожалуй, и светятся зря,
Что жить и без юности можно.

Зачем же по-прежнему вижу во сне
Тот берег крутой, что привиделся мне,
Быть может, еще в колыбели,
Тот гребень гремучий на синей волне,
Тот парус, не знающий цели?

Зачем же мне проза в тетради, когда
Со мною не ты говоришь, а звезда
И парус не хочет покоя?
Сама ты учила в былые года
Тебе не сдаваться без боя.

* * *

Мне другие мерещатся тени,
Мне другая поет нищета.
Переплетчик забыл о шагрени,
И красильщик не красит холста.

И кузнечная музыка счетом
На три четверти в три молотка
Не проявится за поворотом
Перед выездом из городка.

За коклюшки свои кружевница
Под окном не садится с утра,
И лудильщик, цыганская птица,
Не чадит кислотой у костра,

Златобит молоток свой забросил,
Златошвейная кончилась нить.
Наблюдать умиранье ремесел —
Все равно что себя хоронить.

И уже электронная лира
От своих программистов тайком
Сочиняет стихи Кантемира,
Чтобы собственным кончить стихом.

ПОСРЕДИНЕ МИРА

Я человек, я посредине мира,
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.

Я Нестор, летописец мезозоя,
Времен грядущих я Иеремия,
Держа в руках часы и календарь,
Я в будущее втянут, как Россия,
И прошлое кляну, как нищий царь.

Я больше мертвецов о смерти знаю,
Я из живого самое живое.
И — боже мой! — какой-то мотылек,
Как девочка, смеется надо мною,
Как золотого шелка лоскуток.

* * *

Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала как флейта звучать.
Я ловил соответствия звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка — слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге яркострекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.
Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом,
загадку
Смутных чувств и простую разгадку ума,
В слове п р а в д а мне виделась правда сама,
Был язык мой правдив, как спектральный
анализ,
А слова у меня под ногами валялись.

И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,
Но зато не унизил ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел,
И пока на земле я работал, приняв
Дар студеной воды и пахучего хлеба,
Надо мною стояло бездонное небо,
Звезды падали мне на рукав.

РУКИ

Взглянул я на руки свои
Внимательно, как на чужие:
Какие они корневые —
Из крепкой рабочей семьи.

Надежная старая стать
Для дружеских твердых пожатий;
Им плуга бы две рукояти,
Буханку бы хлебную дать,

Держать бы им сердце земли,
Да все мы, видать, звездолюбцы,—
И в небо мои пятизубцы
Двумя якорями вросли.

Так вот чем наш подвиг велик:
Один и другой пятерик
Свой труд принимают за благо,
И древней атлантовой тягой
К ступням прикипел материк.

ЦЕЙСКИЙ ЛЕДНИК

Друг, за чашу благодарствуй,
Небо я держу в руке,
Горный воздух государства
Пью на Цейском леднике.

Здесь хранит сама природа
Явный след былых времен —
Девятнадцатого года
Очистительный сезон

А внизу из труб Садона
Сизый тянется дымок,
Чтоб меня во время óно
Этот холод не увлек.

Там над крышами, как сетка,
Дождик дышит и дрожит,
И по нитке вагонетка
Черной бусиной бежит.

Я присутствую при встрече
Двух времен и двух высот,
И колючий снег на плечи
Старый Цее мне кладет.

ДАГЕСТАН

Я лежал на вершине горы,
Я был окружен землей.
Заколдованный край внизу
Все цвета потерял, кроме двух:
Светло-синий,
Светло-коричневый там,
Где по синему камню писало перо Азраила.
Вкруг меня лежал Дагестан.

Разве гадал я тогда,
Что в последний раз
Читаю арабские буквы на камнях горделивой земли?
Как я посмел променять на чет и нечет любови
Разреженный воздух горы?

Чтобы здесь
В ложке плавить на желтом огне
Дагестанское серебро?
Петь:
«Там я жил над ручьем,
Мыл в ледяной воде
Простую одежду мою»?

АРДОН[1]

I

Я скомкал письмо и коня оседлал.
По сморщенной коже горы,
Царапая ребра обветренных скал,
Кудахча бежали дворы.

Я плетью ременной ударил коня,
Любовью твоей обойден,
И конь мой рванулся и вынес меня
Туда, где клубится Ардон.

Изрубленный насмерть, он был одинок
На бешеном ложе своем,
Взбежать на постылую гору не мог
И ринулся вниз напролом.

А все-таки в памяти он сохранил
Седых берегов забытье,
Сухой известняк безымянных могил
И скифское имя свое.

Я знал, ты обидеть хотела меня,
Но память меня охранит
От ревности, жгущей сильнее огня,
От боли холодных обид.

---

[1] Река на Северном Кавказе.

Я был, как седая река, одинок,
Любовью твоей обойден,
На гибель тебя променять я не мог,
Но видел кипучий Ардон.

Когда над Ардоном кружил Азраил,
Я думал о нашей судьбе.
И все-таки я навсегда сохранил
Все то, что сокрыто в тебе.

Смотри же, со мною остался навек
Весь жар бытия твоего:
За трепетом полуопущенных век
Недвижных зрачков торжество.

II

И криком орлиным, и хлопаньем крыльев
Гоним, я в долину бежал от гнезда,
На влажные камни я лег обессилев.
— Охотник, ты струсил! — кричала вода.

Я поднял винтовку и выстрелил в пену,
И встала река во весь рост предо мной,
И камни пошли на отвесную стену,
И рыба хлестала в пыли водяной.

Я спал. На земле и любили, и пели,
И, может быть, ты приходила сюда,
Но пальцы мои задевали форели
И шла надо мной ледяная вода.

Недаром покоя ты мне пожелала,
Спасибо за память! Я видел во сне:
Бегу, а любовь мне лицо исклевала,—
Ардон этой ночью привиделся мне.

СТЕПНАЯ ДУДКА

I

На каждый звук есть эхо на земле.
У пастухов кипел кулеш в котле,
Почесывались овцы рядом с нами
И черными стучали башмачками.
Что деньги мне? Что мне почет и честь
В степи вечерней без конца и края?
С Овидием хочу я брынзу есть
И горевать на берегу Дуная,
Не различать далеких голосов
И ждать благословенных парусов.

II

Где вьюгу на латынь
Переводил Овидий,
Я пил степную синь
И суп варил из мидий.

И мне огнем беды
Дуду насквозь продуло,
И потому лады
Поют как Мариула,

И потому семья
У нас не без урода
И хороша моя
Дунайская свобода.

Где грел он в холода
Лепешку на ладони,
Там южная звезда
Стоит на небосклоне.

III

Земля неплодородная, степная,
Горючая, но в ней для сердца есть
Кузнечика скрипица костяная
И кесарем умноженная честь.

А где мое грядущее? Бог весть.
Изгнание чужое вспоминая,
С Овидием и я за дестью десть
Листал тетрадь на берегу Дуная.

За желть и желчь любил я этот край
И говорил: — Кузнечик мой, играй! —
И говорил: — Семь лет пути до Рима!

Теперь мне и до степи далеко.
Живи хоть ты, глоток сухого дыма,
Шалаш, кожух, овечье молоко.

СТАНЬ САМИМ СОБОЙ

Werde der Du bist.

Гёте

Когда тебе придется туго,
Найдешь и сто рублей и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.

Ты вывернешься наизнанку,
Себя обшаришь спозаранку,
В одно смешаешь явь и сны,
Увидишь мир со стороны

И всё и всех найдешь в порядке.
А ты — как ряженый на святки —
Играешь в прятки сам с собой,
С твоим искусством и судьбой.

В чужом костюме ходит Гамлет
И кое-что про что-то мямлит,—
Он хочет Мóисси играть,
А не врагов отца карать.

Из миллиона вероятий
Тебе одно придется кстати,
Но не дается, как назло,
Тебе заветное число.

Загородил полнеба гений.
Не по тебе его ступени,
Но даже под его стопой
Ты должен стать самим собой.

Найдешь и у пророка слово,
Но слово лучше у немого,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспышке озаренья
Собой угадан до конца.

СТЕПЬ

Земля сама себя глотает
И, тычась в небо головой,
Провалы памяти латает
То человеком, то травой.

Трава — под конскою подковой,
Душа — в коробке костяной,
И только слово, только слово
В степи маячит под луной.

Почиет степь, как неживая,
И на курганах валуны
Лежат — цари сторожевые,
Опившись оловом луны.

Последним умирает слово.
Но небо движется, пока
Сверчо воды проходит снова
Сквозь жесткий щит материка.

Дохнет репейника ресница,
Сверкнет кузнечика седло,
Как радугу, степная птица
Расчешет сонное крыло,

И в сизом молоке по плечи
Из рая выйдет в степь Адам
И дар прямой разумной речи
Вернет и птицам и камням.

Любовный бред самосознанья
Вдохнет, как в душу, в корни трав,
Трепещущие их названья
Еще во сне пересоздав.

ВЕРБЛЮД

На длинных нерусских ногах
Стоит, улыбаясь некстати,
А шерсть у него на боках
Как вата в столетнем халате.

Должно быть, молясь на восток,
Кочевники перемудрили,
В подшерсток втирали песок
И ржавой колючкой кормили.

Горбатую царскую плоть,
Престол нищеты и терпенья,
Нещедрый пустынник-господь
Слепил из отходов творенья.

И в ноздри вложили замок,
А в душу — печаль и величье,
И верно, с тех пор погремок
На шее болтается птичьей.

По Черным и Красным пескам,
По дикому зною бродяжил,
К чужим пристрастился тюкам,
Копейки под старость не нажил.

Привыкла верблюжья душа
К пустыне, тюкам и побоям.
А все-таки жизнь хороша,
И мы в ней чего-нибудь стоим.

* * *

Т. О.-Т

Как золотая птичка,
Дрожит огонь впотьмах,
В одну минуту спичка
Сгорит в моих руках.

Наверное, такое,
Навек родное мне,
Сердечко голубое
Живет в ее огне.

И в этом зыбком свете,
Пусть выпавшем из рук,
Я по одной примете
Узнаю все вокруг.

Мне жалко, что ни свечки,
Ни спичек больше нет,
Что в дымные колечки
Совьется желтый свет.

Невесел и неярок,
На самый краткий срок,
Но будет мне подарок —
Последний уголек.

О, если б жар мгновенный,
Что я в стихи вложил,
Не меньше спички тленной
Тебе на радость жил!

ЮРЬЕВЕЦ

Вот Юрьевец, Юрьевец, город какой —
Посмотришь в бинокль на него с высоты —
У самой воды, под самой горой
В две улицы тянется на три версты.

В бинокль поглядеть бы с другой стороны:
Вот лодочка-пристань под флагом стоит,
Бежит пароход из восточной страны
И пленницу-барышню в трюме таит.

Чем спать да гадать юрьевецкой судьбе,
Погнать бы кораблик на серый песок,
А барышню вывести на́верх к тебе —
В бинокль поглядеть на чужой городок.

Сказала бы кукла, какою судьбой
За домиком домик стоит бугорком:
У сонной горы над синей водой
Она здесь гуляла в саду городском.

ЕЛАБУГА

Зову — не отзывается, крепко спит Марина.
Елабуга, Елабуга, кладбищенская глина.

Твоим бы именем назвать гиблое болото,
Таким бы словом, как засовом, запирать ворота.

Тобою бы, Елабуга, детей стращать немилых,
Купцам бы да разбойникам лежать в твоих
могилах.

А на кого дохнула ты холодом лютым?
Кому была последним земным приютом?

Чей слышала перед зарей возглас лебединый?
Ты слышала последняя голос Марины.

Теперь тебе, проклятая,— ты что не плачешь? —
Светиться чистым золотом: Марину прячешь!

* * *

Не речи,—
нет, я не хочу
Твоих сокровищ — клятв и плачей,—
Пера я не переучу
И горла не переиначу,—

Не смелостью пред смертью,—
ты
Все замыслы довоплотила
В свои тетради до черты,
Где кончились твои чернила,—

Не первородству,—
я отдам
Свое, чтобы тебе по праву
На лишний день вручили там,
В земле,— твою земную славу,—

Не дерзости твоих страстей
И не тому, что все едино,
А только памяти твоей
Из гроба научи, Марина!

Как я боюсь тебя забыть
И променять в одно мгновенье
Прямую фосфорную нить
На удвоенье, утроенье
Рифм —
и в твоем стихотворенье
Тебя опять похоронить.

* * *

Пес дворовый с улицы глядит в окошко,—
Ну и холод, ветер поземный, холод лютый!
Дома печки натоплены, мурлычет кошка,
Хорошо нам дома: сыты, одеты и обуты.

Меху-то сколько, платков оренбургских, чулок да
шалей,—
Понапряли верблюжьего пуху, навязали фуфаек,
Посидели возле печки, чаю попили, друг другу сказали:
— Вот оно как ведется в декабре у хозяек! —
Подумали, пса позвали:— Оставайся на ночь,
Худо в тридцать градусов — неодету, необуту.
С кошкой не ссорься, грейся у печки, Барбос Полканыч:
В будке твоей собачьей хвост отморозишь в одну минуту.

* * *

Пускай меня простит Винсент Ван-Гог
За то, что я помочь ему не мог,

За то, что я травы ему под ноги
Не постелил на выжженной дороге,

За то, что я не развязал шнурков
Его крестьянских пыльных башмаков,

За то, что в зной не дал ему напиться,
Не помешал в больнице застрелиться.

Стою себе, а надо мной навис
Закрученный, как пламя, кипарис,

Лимонный крон и темно-голубое,—
Без них не стал бы я самим собою,

Унизил бы я собственную речь,
Когда б чужую ношу сбросил с плеч.

А эта грубость ангела, с какою
Он свой мазок роднит с моей строкою,

Ведет и вас через его зрачок
Туда, где дышит звездами Ван-Гог.

РУКОПИСЬ

А. А. Ахматовой

Я кончил книгу и поставил точку
И рукопись перечитать не мог.
Судьба моя сгорела между строк,
Пока душа меняла оболочку.

Так блудный сын срывает с плеч сорочку,
Так соль морей и пыль земных дорог
Благословляет и клянет пророк,
На ангелов ходивший в одиночку.

Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной. Я младший из семьи
Людей и птиц, я пел со всеми вместе

И не покину пиршества живых —
Прямой гербовник из семейной чести,
Прямой словарь их связей корневых.

* * *

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

А. С. Пушкин

Как тот Кавказский Пленник в яме,
Из глины нищеты моей
И я неловкими руками
Лепил свистульки для детей.

Не испытав закала в печке,
Должно быть, вскоре на куски
Ломались козлики, овечки,
Верблюдики и петушки.

Бросали дети мне объедки,
Искусство жалкое ценя,
И в яму, как на зверя в клетке,
Смотрели сверху на меня.

Приспав сердечную тревогу,
Я забывал, что пела мать,
И научился понемногу
Мне чуждый лепет понимать.

Я смутно жил, но во спасенье
Души, изнывшей в полусне,
Как м и м о л е т н о е в и д е н ь е,
Опять явилась Муза мне,

И лестницу мне опустила,
И вывела на белый свет,
И леность сердца мне простила,
Пусть хоть теперь, на склоне лет.

* * *

> Что тревожишь ты меня,
> Что ты значишь...
>
> *А. С. Пушкин*

Разобрал головоломку —
Не могу ее сложить.
Подскажи хоть ты потомку,
Как на свете надо жить —

Ради неба или ради
Хлеба и тщеты земной,
Ради сказанных в тетради
Слов — идущему за мной?

Под окном — река забвенья,
Испарения болот.
Хмель чужого поколенья
И тревожит, и влечет.

Я кричу, а он не слышит,
Жжет свечу до бела дня,
Будто мне в ответ он пишет:
«Что тревожишь ты меня?»

Я не стою ни полслова
Из его черновика.
Что ни слово — для другого,
Через годы и века.

Боже правый, неужели
Вслед за ним пройду и я
В жизнь из жизни мимо цели,
Мимо смысла бытия?

* * *

Я долго добивался,
Чтоб из стихов своих
Я сам не порывался
Уйти, как лишний стих.

Где свистуны свистели
И щелкал щелкопер,
Я сам свое веселье
Отправил под топор.

Быть может, идиотство
Сполна платить судьбой
За паспортное сходство
Строки с самим собой.

А все-таки уставлю
Свои глаза на вас,
Себя в живых оставлю
Навек или на час,

Оставлю в каждом звуке
И в каждой запятой
Натруженные руки
И трезвый опыт свой.

Вот почему без страха
Смотрю себе вперед,
Хоть рифма, точно плаха,
Меня сама берет.

К СТИХАМ

Стихи мои, птенцы, наследники,
Душеприказчики, истцы,
Молчальники и собеседники,
Смиренники и гордецы!

Я сам без роду и без племени
И чудом вырос из-под рук,
Едва меня лопата времени
Швырнула на гончарный круг.

Мне вытянули горло длинное,
И выкрутили душу мне,
И обозначили былинные
Цветы и листья на спине,

И я раздвинул жар березовый,
Как заповедал Даниил,
Благословил закат свой розовый
И как пророк заговорил.

Скупой, охряной, неприкаянной
Я долго был землей, а вы
Упали мне на грудь нечаянно
Из клювов птиц, из глаз травы.

СОДЕРЖАНИЕ

Тарковский А. А.
Т 19 От юности до старости: Стихи.— М.: Советский писатель, 1987.— 112 с.

В эту книгу Арсений Тарковский, замечателькый мвстер нашей поэзии, включил особенно дорогие ему стихк разных лет.

$\text{Т}\ \dfrac{4702010200-158}{083(02)-87}\ 244-87$ **ББК 84 Р 7**

Арсений Александрович Тарковский

ОТ ЮНОСТИ ДО СТАРОСТИ

Редактор *В. С. Фогельсон*
Худож. редактор *Д. С. Мухин*
Техн. редакторы *Р. Я. Соколова, Н. В. Сидорова*
Корректор *Т. Н. Гуляева*

ИБ № 6026

Сдано а квбор 03.02.87. Подписако к печвтк 23.04.87. А 06652. Формат 70×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Обыкковенкая гаркитура. Высокак печать. Усл. печ. л. 4,90. Уч.-кзд. л. 3,19. Ткраж 50 000 экз. Заказ № 75. Цека 40 коп. Ордека Дружбы народов издательстао «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульскак ткпографкк Союзполигрвфпрома при Государственом комнтете СССР по делам издательств, полиграфии и киижкой торговли, 300600, г. Тула, проспект Лекина, 109


40 коп.